

Александр Грин

**Автобиографическая  
повесть**



# Александр Степанович Грин

## Автобиографическая повесть

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=273912](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=273912)*

*Алые паруса: Эксмо; Москва; 2001*

*ISBN 5-04-007983-4*

### **Аннотация**

Грин в своей последней законченной книге занят не столько автобиографией, сколько анализом самого типа формирующейся творческой личности романтика. «Вся “Автобиографическая повесть” построена на контрасте между “идеальными”, романтическими представлениями о жизни и её суровыми реальными картинами, которые изображаются с натуралистической беспощадностью...»

# Содержание

Бегство в Америку	4
Охотник и матрос	18
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Александр Грин

## Автобиографическая повесть

### Бегство в Америку

Потому ли, что первая прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» – детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, – но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет.

Я читал бессистемно, безудержно, запоем.

В журналах того времени: «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» – я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте.

После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского – моего дяди по отцу – в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках; но было порядочно книг и на русском.

Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал.

Поиски интересного чтения были для меня своего рода

путешествием.

Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению Средних веков. Я мечтал открыть «философский камень», делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил.

Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли.

В книгах «для взрослых» я с пренебрежением пропускал «разговор», стремясь видеть «действие». Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жакольо были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах.

Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе.

По истории, закону божью и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, – двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением походов капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники

бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» – «Нет, я не получил яблока, но я имею собаку и кошку», – я знал только два слова: копф, гунд, эзель и элефант. С французским языком дело было еще хуже.

Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения.

Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память.

Учителя говорили:

– Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он... озорник, сорванец, шалун.

Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час»; этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда.

Одетый, с ранцем за спиной, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.

Смертельно голодный, я начинал искать в партах остав-

шиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал наконец обед.

Дома меня ставили в угол, иногда били.

Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку – то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками!»

Немец, высокий, элегантный блондин, с надвое расчесанной бородкой, краснел как девушка, сердился и строго говорил: «Гриневский! Выйдите и станьте к доске».

Или: «Пересядьте на переднюю парту»; «Выйдите из класса вон» – эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя.

Если я бежал, например, по коридору, то обязательно наткался или на директора, или на классного наставника: опять кара.

Если я играл во время урока в «перышки» (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отделивался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда.

Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как *годовая* отметка поведения. Из-за нее я был исключен на год

и прожил это время, не очень скукая о классе.

Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал.

Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.

На дворе я расставлял стоймя поленья шеренгами – и издали поражал их камнями, – в битве с не ведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками. Перед моими глазами, в воображении, вечно были – американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка.

Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью.

Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими из-

делиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы.

Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня – никогда.

На десятом году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо.

Я начал целыми днями пропадать в лесах; не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью, «отпустят» или «не отпустят» меня сегодня «стрелять».

Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов.

Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда.

Кроме того, я был запойным удильщиком – исключительно по *шеклее*, вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху; собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая

озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги.

По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год.

Меня погубили: сочинительство и донос.

Еще в подготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе, от третьего до седьмого, заставляют читать свое произведение.

Это были мои стихи:

Когда я вдруг проголодаюсь,  
Бегу к Ивану раньше всех:  
Ватрушки там я покупаю,  
Как они сладки – эх!

В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки, но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его «ватрушками».

Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря: «Что, Гриневский, ватрушки сладки – эх?!!»

В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), срисовал в него несколько картинок

из «Живописного обозрения» и других журналов, сам сочинил какие-то рассказы, стихи – глупости, вероятно, необычайной – и всем показывал.

Отец, тайно от меня, снес журнал директору – полному, добродушному человеку, и вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря:

– Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались, чем шалостями.

Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения. Меня дразнили двумя кличками: Грин-блин и Колдун. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.

В общем, меня сверстники не любили; друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван и классный наставник Капустин. Его же я и обидел, но это была умственная, литературная задача, разрешенная мной на свою же голову.

В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых» и захотел подражать.

Вышло так (я помню не все):

Инспектор, жирный муравей,  
Гордится толщиной своей...

.....

Капустин, тощая козявка,

Засохшая былинка, травка,  
Которую могу я смять,  
Но не желаю рук марать.

....

Вот немец, рыжая оса,  
Конечно, – перец, колбаса...

.....

Вот Решетов, могильщик-жук...

Упомянуты, в более или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег.

Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал Колдун. Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский, поляк, сын пристава, однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока.

Две недели тянулась злая игра. Маньковский, сидевший рядом со мной, каждый день шептал мне: «Я сейчас покажу!» Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок; многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством, просили Маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим.

Каждый день повторялось одно и то же:

– Гринеvский, я сейчас покажу...

При этом он делал вид, что хочет поднять руку.

Я похудел, стал мрачен; дома не могли добиться от меня

– что со мной.

Решив наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдясь позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых (между прочим, чувства ложного стыда, тщеславия, мнительности и жажды «выйти в люди» были очень сильны в глухом городе), я стал собираться в Америку.

Была зима, февраль.

Я продал букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались; когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «сейчас подам», поднял руку и сказал:

– Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского.

Учитель разрешил.

Класс притих. Маньковского со стороны дергали, щипали, шипели ему: «Не смей, сукин сын, подлец!» – но, аккуратно обдернув блузу, плотный, черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок; скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел.

Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.

– Гриневский!

Я встал.

– Это вы писали? Вы пишете пасквиль?

– Я... Это не пасквиль.

От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: «Я погиб».

– Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.

Я вышел плача, не понимая, что происходит.

Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут.

Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича; лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату – в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками.

За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит.

– Гриневский, – сказал, волнуясь, директор, – вот вы написали пасквиль... Ваше поведение всегда... подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только

добра...

Он говорил, а я ревел и повторял:

– Больше не буду!

При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных – он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор.

Только инспектор – мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник – не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков.

Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору.

Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду – так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка; дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес.

Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал: мне предстояло идти в Америку.

Голод взял свое – я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме,

в ранце, с гербом на фуражке!

Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег, ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега. Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела – теперь смутно почувствовал я истину жизни: необходимость знаний и силы, которых у меня не было.

Когда я пришел домой, было уже темно. Охо-хо! Даже теперь жутко все это вспоминать.

Слезы и гнев матери, гнев и побои отца; крики: «Вон из моего дома!», стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера; каждый день пьяный отец (он сильно пил); вздохи, проповеди о том, что «только свиней тебе пасти», «на старости лет думали, что сын будет подмогой», «что скажут такие-то и такие-то», «тебя мало убить, мерзавца!» – вот так, в этом роде, шло несколько дней.

Наконец буря утихла.

Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.

Училищный совет склонен был посмотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.

Меня исключили.

В гимназию меня отказались принять. Город, негласно,

выдал мне уже волчий, неписанный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день.

Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища.

# Охотник и матрос

Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском; тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александра. Мать стала учить меня азбуке; я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова.

Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, – крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:

– Саша, давай читать. Это какая буква?

– М.

– А эта?

– О.

– Верно. Как же сказать их сразу?

В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».

Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, – и так начал читать.

Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.

Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой – не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.

Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» – я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.

По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.

Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.

В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.

Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокру-

шительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.

Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».

Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами... Лучшее всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

– Постыдитесь, – увещевал он галдящую и скачущую ораву, – гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища... Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» – и бегут в гимназию кружным путем.

Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. – Вятская гимназия – литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разби-

тый урыльник!» (А. В. Р. У. – литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.

Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.

С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, – путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.

Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.

Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая – в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.

Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.

Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.

Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,  
И в кармане – ни гроша,  
И в неволе —  
Поневоле —  
Затанцуешь антраша!  
Вот он, маменькин сыночек,  
Шалопай – зовут его;  
Словно комнатный щеночек, —  
Вот занятие для него!

Философствуй тут как знаешь,  
Иль, как хочешь, рассуждай, —  
А в неволе —  
Поневоле —  
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):

И хвостом она махнула  
И сказала: не забудь!

Я ничего не понимал, но ревел.

Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.

Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже... Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после Петрова дня – 29 июня, – начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.

К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.

Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.

Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь – босиком.

По-прежнему добычей моей были кулики разных пород:

черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка – водяные курочки, утки.

Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье – одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самым способом зарядания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.

Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.

Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.

Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом», маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.

В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытываемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром,

чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.

У первого моего ружья был очень тугой курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.

Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняюсь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку.

Предоставляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать – стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль.

Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при зарядании – на глаз, без мерки; дробь ле-

жала в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь – например, крупный, № 5, шел и по кулику и по воробьиной стае или, наоборот, мелкий, как мак, № 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая.

Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно.

Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги.

Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу.

Впоследствии, в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там.

Об этой одной из интереснейших страниц моей жизни я расскажу в следующих очерках, а пока прибавлю, что только раз я был доволен собой вполне – как охотником.

Меня взяли с собой на охоту взрослые молодые люди, бывшие наши квартирные хозяева, братья Колгушины. Уже темной ночью мы возвращались с озер к костру. Вдруг, покрякивая, свистнула крыльями утка и, плеснув по воде, села на небольшое озерко, шагах в тридцати.

Вызвав смех спутников, я прицелился на звук плеска севшей в черной тьме утки и выстрелил. Слышно было, что утка забилась в камышах: я попал.

Две собаки не могли найти мою добычу, чем даже сконфузили и рассердили своих хозяев. Тогда я разделся, полез в воду и, по горло в воде, разыскал убитую птицу по смутно чернеющему на воде ее телу.

Время от времени мне удавалось зарабатывать немного денег. Однажды земству понадобился чертеж одного городского участка с строениями... Отец устроил этот заказ мне, я ходил по участку с рулеткой, потом чертил, испортил несколько чертежей, наконец, с грехом пополам, сделал, что нужно, и получил за это десять рублей.

Раза четыре отец давал мне переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений, по десять копеек с листа, на этом деле я тоже заработал несколько рублей.

Двенадцати лет я пристрастился к переплетному мастерству, сам сделал станок для сшивания; роль прессы играли кирпичи и доска, кухонный нож был обрезальным ножом. Цветная бумага для переплетов, сафьян для углов и корешков, коленкор, краски для обрызгивания обреза книги и книжечки фальшивого (сусального) золота для тиснения букв на корешках – все это я приобретал постепенно, частью на деньги отца, частью на свои заработанные.

Одно время у меня было порядочно заказов; будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать пятнадцать-двадцать рублей в месяц, но старая привычка к

небрежности, поспешности сказала и здесь, – месяца через два моя работа окончилась. Я переплел около ста книг – в том числе тома нот одному старому учителю музыки. Мои переплеты были неровны, обрез неправилен, вся книга вихлялась, а если не вихлялась по сшиву, то отставал корешок или коробился самый переплет.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.